



ПРЕДСКАЗАНИЕ

ОСТАНОВКА

Александр Алексеевич Ломтев родился в 1956 году в селе Пуза Арзамасской, ныне Нижегородской области. Окончил Арзамасский государственный институт, работал кинемехаником, электромонтёром, сторожем, журналистом. С 1990 года и по сей день – директор различных газет и информационных агентств. Член Союза журналистов России, Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-пресс). Прозаик, поэт, публицист, член Союза писателей России. Публиковался в общественно-политических и литературных журналах в России и за рубежом. Автор семи книг, лауреат премий Союза журналистов России, «Золотой гонг», «Золотой лотос», «Патриот России», «Имперская культура», Международной премии им. А. Куприна. Живёт в Сарове Нижегородской области.

Господи, сколько же я здесь не был? Лет сорок? Я совсем другой, а тут всё по-прежнему. Только деревья стали повыше, а стволы их потолще, и дорога, что была проезжей, теперь брошена, и поворотный круг – конечная автобуса За – почти зарос пылью и крапивой. И что это нас тянет в места, связанные с детством, словно убийцу на место преступления? К этим дворам, скамейкам и сиреневым купинам за облезлыми штaketниками, к этим тропинкам, среди миллионов следов которых давно стёрлись наши следы; никто и ничто нас здесь не помнит и не ждёт, но память никак не желает смириться с потерей...

...Автобус останавливался, заставив качнуться плотно стоящий народ, замирал у таблички «Остановка», и двери с шипением удава открывались. Если

кондуктором была Матрёновна — полусумасшедшая пожилая тётка, — пассажиров ждало небольшое развлечение: Матрёновна бросалась открывать автоматические двери руками, поскольку всю жизнь работала на старых автобусах, в которых двери за специальный рычаг должен был открывать кондуктор. И сколько ей ни объясняли, что двери теперь открываются сами, она всё равно бросалась их раздвигать, и тужилась, и сердилась: вот, сволочь, тугие какие!

Если пойти вот этой совсем ветхой асфальтовой дорожкой, придёшь к реке. В реку и сейчас смотрится старая колокольня. Правда, теперь вместо телеантенны над ней крест, а неподалёку, вместо зелёных финских домиков среди сосен, поднялись над зелёными кронами красные многоэтажки. А если идти в противоположную сторону, придёшь к синему штакетнику детского сада, куда, собственно говоря, и водил меня каждое утро отец... Ни детского сада, ни тем более штакетника теперь нет. Всё-таки меняемся не только мы, но и те места, что казались нам когда-то незлыблемо вечными.

«Санька, на какую букву начинается слово «остановка»? На О. А почему же на табличке написано А? Действительно, почему? Дурак, потому что «автобус», вот почему! А-а...»

Табличка совсем заржавела, краска мелкими струпами кудрявилась кое-где по жестяной

плоскости, но при желании всё ещё можно было разглядеть неверные очертания большой буквы А. Прямо от посадочной площадки в лес уходила живописная тропинка, над которой шатром смыкались ветви клёнов, тополей и лип. Оттуда пахло сырой травой, мхом, ежами и ещё чем-то таинственно неведомым, там сквозь мягкий прибой листвы под ветром свистели невидимые птицы. И мне всё время хотелось туда, в этот зелёный прозрачный сумрак, но отец упрямо вёл меня мимо тропинки, мимо окраинных финских домиков, к знакомому синему штакетнику детского сада...

— И вот она, эта женщина, вышла с девочкой из автобуса и пошла не по тротуару, а в лес...

Я сижу в зарослях сирени под ограждением веранды; ребяташки играют на площадке — кто с мячом, кто с куклами, двое мальчишек ссорятся из-за большого зелёного экскаватора, а на меня нашла блажь забиться в укромное местечко и помечтать. К нашей воспитательнице пришла воспитательница из соседней группы, и они, опёршись на перила веранды и поглядывая каждая за своими, не замечая меня, азартно шепчутся громким полушёпотом.

— А шофёр её обратил внимание, чего это она с утра в лес, если и детский садик в другую сторону, и речка в другую, а в лесу ни грибов, ни ягод. Да и девочка маленькая совсем ещё.

— Ну, и...

— Ну, и решил постоять. Конечно, график, и нагоняй мог получить, но вот, видимо, предчувствие у него какое-то...

— Ну, ну...

— Ну, смотрит, а она вся не своя, возвращается одна, садится в автобус с вытаращенными глазами и сидит, как мумия.

— А шофёр?

— А шофёр выскочил из кабины да как побежит в лес по тропке-то; смотрит, а там... — мне становится холодно в моей июльской сирени. — А там девочка-то и висит на дереве повешенная!

— Боженьки ж вы мои!

— Но он её успел снять, пока она ещё не до самой смерти задохлась. Лёгонькая, шейку-то ей не до конца затянуло...

— Я бы этой злыдне все зенки повыщарапала — родное дитя повесить! Это что ж за времена настали...

— Нагуляла она девочку-то, безмужняя, вот, говорит, люди вокруг, родня попрёками и довели. Говорит, и сама отравиться потом хотела. Правда, и таблетки какие-то при ней вроде бы нашли. А девочка в милиции и говорит: мама, мол, верёвочку на шейку повязала, играть, говорит, будем, а сама пропала...

— Да-а-а...

Я сидел в кустах под верандой ни жив ни мёртв, оглушённый свистящим дуэтом воспитательниц, и постепенно начинал понимать о мире что-то другое,

чего не знал до сих пор, что-то большое, грозное и неумолимое. Наверное, я впервые почувствовал, насколько беззащитен и одинок на свете человек, если даже родная мама может...

У стояка, к которому крепились табличка остановки, прямо через отверстие большого колёсного диска, врытого вместо станины, проросла рябина, может быть, поэтому ржавое железо, спрятанное в её листве, и уцелело от исчезновения в недрах цветмета. Асфальт тротуаров тут и там пробила всесильная зелень, от поветшавших, но сохранившихся ещё финских домиков доносился собачий лай. В плотной стене зелени не было даже намёка на живописную тропинку, уводившую когда-то моё воображение в лесной рай с ежами, папоротниками и неведомыми птицами. А ветер по-прежнему шумит и шумит в плотной листве, как шумел сорок лет назад и будет шуметь через сорок лет после моей смерти, когда не только о детском садике, об этой пропавшей тропинке, о девочке и её несчастной матери, но и обо мне самом-то некому будет вспомнить...

НАКАНУНЕ

Паром уходил утром, и весь вечер допоздна они сидели на берегу у большого костра, разожжённого из плавника и сухого саксаула. Жарили на прутиках куски лепёшки, пили портвейн и

болтали о том о сём. Все, конечно, завидовали Белле. Кто больше, кто меньше, но все. Белла уезжала в Москву. Сначала на пароме в Баку, а оттуда самолётом в столицу. У Беллы в Москве дядя, и он обещал пристроить племянницу в институт.

Костёр отгонял ночную прохладу пустыни, портвейн грел изнутри, ветерок с Каспия нёс знакомые запахи подгнивших водорослей, сырого песка и дизельный дух порта. Сбоку отсвечивал тусклым электрическим заревом Красноводск.

Белла была рядом, мелкими глоточками пила вино, закусывала подгоревшей лепёшкой, но смотрела на всех как будто уже издалека. И вроде даже несколько снисходительно, как коренная москвичка на провинциальных родственников. Это было обидно, но никто не показывал виду. Из Красноводска редко кому выпадало уехать так далеко; поступить в вуз в Ашхабаде уже считалось большой удачей, а тут Москва. И если уж кому и должно было повезти, то, конечно, Белле. Отличнице и красавице, да ещё и с таким именем. Поэтому завидовали по-хорошему. И каждый втайне думал, что это даже неплохо, что в столице обоснуется свой человек, будет к кому приходить в гости, а то и переночевать, подвернись случай оказаться в Москве. Мало ли — командировка, туристская путёвка, мало ли...

Костёр рдел в ночи горячими рубинами, тьякали из темноты

шакалы, ночная птица кричала со стороны скал, нависших над засыпающим городом, Каспий мерно дышал и шелестел волной. У них был дружный класс, и всем было грустно. Скоро почти каждому предстояло уехать, но первой — и так далеко! — предстояло уехать Белле. Она грустила вместе со всеми, но лёгкое нетерпенье уже волновало сердце, что там, как там... Москва, всё новое, большое, настоящее...

Через два года Советского Союза не станет, Москва окажется в другом государстве, русские из Красноводска будут уезжать, вскоре и родители Беллы, продав по дешёвке квартиру, уедут в Россию. Про тот вечер как-то быстро забудется, жизнь пойдёт такая, что станет не до сентиментальных воспоминаний; Беллу, впрочем, иногда будут вспоминать в поредевшей компании одноклассников, но где она, закончила ли институт, вышла ли замуж, нарожала ли детей, — никто уже не узнает...

А Белла тот вечер отчего-то будет вспоминать всю жизнь. И костёр, и прохладу, подступающую из весенней пустыни, и плеск невидимого в ночи Каспия, и подгоревший на огне кусок лепёшки. И блестящие то ли от бликов костра, то ли от игры портвейна в молодой крови глаза одноклассников. И те надежды, которые волновали тогда душу, независимо от того, сбылись они или нет...

САНЯ-КНУТ

Мир сильно изменился. Очень сильно. Вот, например, пропали юродивые. Дураки, маньяки, нищие, бесноватые остались — этих маньяков и бесноватых по телевизору сколько угодно показывают, а юродивых больше нет. Вымерли как вид. А я ещё застал времена, когда они изредка встречались. В середине двадцатого века...

В деревеньке, где жили мои бабушка с дедом, жил, может быть, последний юродивый России. Ну, уж в наших краях последний — точно! Классический такой юродивый: ходил в обносках, зимой и летом босиком, в сумку собирал всё, что ни найдёт, или что подадут. Не попрошайничал, был добрым и разговорчивым. И всё время не расставался с самодельным верёвочным кнутом, за что и был прозван Саня-кнут.

Дед мой, когда сильно сердился на меня за детские мои не всегда разумные проделки, говорил в сердцах:

— Да у тебя понятия меньше, чем у юродивого! Вырастешь — будешь, как Саня-кнут, с голым пузом ходить.

Как и положено юродивому, был Саня-кнут истово верующим. И была у него мечта: попасть на камушек Серафима Саровского. Саровский монастырь в те годы уже оказался за колючей проволокой; посёлок, что был под его стенами,

облюбовали учёные и военные, которым Родиной было поручено создать атомную бомбу, чтобы ответить на бомбу американскую и спасти мир от войны. За колючей проволокой в три ряда, контрольно-следовой полосой, вдоль которой ходили солдаты с овчарками, оказалась и Дальняя пустынька, где Серафим вершил свой главный подвиг. Так что мечта попасть туда была из области несбыточных. Но не зря старые бабушки говорят: вера сотворит любое чудо. Невероятно, но факт: на серафимовских местах Саня-кнут побывал!

Как-то в июле он вдруг из села пропал. А через месяц его привезли на военном газике, провели в правление колхоза, а потом опять посадили в газик и увезли. Верёвочный кнут, как заметили немногочисленные свидетели происшествия, был при Сане... После этого юродивый сгинул окончательно...

И только годы спустя тайное стало явным.

В то лето Саня-кнут во что бы то ни стало решил попасть в секретный город и пробраться на Дальнюю пустыньку. Он всю весну и весь июнь бродил вдоль колючей проволоки и выискивал лазейку. Безрезультатно. Один раз в него даже стрелял узкоглазый темнолицый солдат — то ли киргиз, то ли якут. Но не попал.

И вот, в конце концов, Саня набрёл на железнодорожную ветку, по которой в закрытый Саров по ночам ходили время от

времени составы. Тут он и понял, как проберётся в город. Выждав, когда на станцию пригнали состав с лесом, он нашёл платформу с самыми большими брёвнами и ухитрился пробраться в щель между стволами. Конечно, там его непременно должно было раздавить во время движения. Но не зря в народе говорят, что Бог заботится о дураках, пьяных и Соединённых Штатах Америки. Поскольку юродивый сродни дураку, Бог, видимо, пожалел Саню, и его не раздавило брёвнами, не унюхали овчарки, не проткнул длинным железным штырём солдат на КПП. Когда состав пришёл на товарную станцию Сарова, была ещё ночь, и Сане удалось незамеченным выбраться из брёвен и так же, не обнаруженным, уйти со станции.

Недели полторы он жил в самодельном шалашике на Дальней пустынке, которую нашёл без труда по рассказам богомольных стариков из нашего села, ещё помнивших, как их в детстве водили на поклонение мощам Серафима и в монастырь, и на пустынку. Однако когда кончилась принесённая в котомке еда — хлеб, печёная картошка и печёные же яйца, пришлось идти в город. Тут, в городе, его и замели. Для интеллигентных жителей научного Сарова в диковинку оказался грязноватый человек в рубище и с кнутом на плече, который стоял у магазина и ласково просил хлебушка. КГБ в те времена работал шустро. Саня-кнут

был моментально задержан, доставлен куда следует, и кто следует его допросил. Долго не решались поверить, что оборванный человек не американский или, на худой конец, английский шпион. Несмотря на то, что Саня-кнут подробнейшим образом описал, как он проник в город, показал шалаш, в котором жил, и рассказал, кто он и откуда, саровские рыцари плаща и кинжала долго отказывались признавать реальность его истории и усердно строили версии шпионского направления, допрашивая его, как инквизиция Коперника. Саня, однако, всем улыбался, ничего не боялся, охотно и многословно отвечал на все вопросы и вышел из себя лишь однажды, когда КГБшники отняли у него кнут. Он так орал, рыдал и колотился в судорогах, что кнут ему вернули и больше отнять не пытались. В конце концов, Саню посадили в газик, привезли в село и предъявили правлению колхоза с председателем во главе для опознания. Со шпионской версией КГБшникам пришлось-таки с большим сожалением расстаться...

Куда увезли Саню, так никто и никогда не узнал. Говорили только, что, садясь у крыльца правления в ГБшный газик, Саня-кнут беспечно и счастливо улыбался. Ещё бы, его несбыточная мечта сбылась.

Газик повёз его в неизвестном направлении, а оказавшиеся около правления случайные

старушки тайком крестили воздух ему вслед...

С тех пор ни одного юродивого в наших краях никто никогда не видел.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Воскресенье — хороший день. Вставать спозаранку не надо, завтракать наспех и на работу бежать не надо, делай что хочешь. Столько всего можно сделать, на что в рабочие дни времени не хватает!

В то воскресенье я встал часов в девять. Да и дольше бы в постели провалялся, если бы соседский пацан «Битлов» не завёл на своей шарманке. «Йестудееей...» Растудей его с его «Битлами».

Ну, ладно, на завтрак маманя яичницу сделала с колбасой и кофе с цикорием. И где она это кофе достаёт? А хорошо с утречка кофейком побаловаться. Юрка Столяров, правда, смеётся: какое, мол, это кофе. Ну, правильно, у него папаша в главке работает, у них кофе из зёрен — и запах другой, и вкус... Мы с Колёсиком у него однажды даже виски настоящее попробовали. Бутылка у его папани в серванте стояла початая, вот Юрец нам по полрюмашечки и налил. Ну не водка, конечно! А всё-таки кофе с цикорием лучше, чем грузинский чай.

Потом я к Колёсику пошёл. Тот уже возле сарая покрышку от ЗиЛа, наполовину вкопанную в песок, молотом обрабатывал.

Босиком и в одних техасах, вспотел уже весь. Где-то он прочитал, что и Брюс Ли, и Мухаммед Али так резкость удара нарабатывали. Вот и молотит покрышку каждую свободную минуту. Может, и правда помогает — удар у Колёсика дай бог каждому. А мне больше плавать нравится: и мышцы укрепляет, и они не дубеют при этом, не закрепощаются, эластичными остаются.

Колёсик надел футболку и сказал, что сегодня нужно сходиться за реку. Тамошние оборзели совсем, нашего парня избили. За то, что ходит на их территорию. А как ему не ходить, если там его ПТУ? В общем, нужно разобраться.

У моста нас уже ждали Гена, Папуля и Юрец. Ну и Саня — парень, которому наваяли.

Говорит: никого не трогал, ничего не говорил, шёл себе в профуру. Налетели, окружили и наклали. Человек семь. Главный, как всегда, Красавчик.

Красавчик этот мне особенно не нравится. Приятель его старшего брата — боксёр-перворазрядник. Вот он и кичится. Сам-то дерётся так себе. Можно сказать, никак, но связываться с ним не любят. Знают, что этот знакомый его брата скоро КМСа получит.

Но у нас тоже кое-кто за спиной есть. Витя-боец. Он уже КМС, и тот перворазрядник на нас из-за Вити не полезет. Скажет Красавчику: сами разбирайтесь. Такой политес.

Я так думаю, если бы Красавчик знал, что Саня из наших, не стал бы на него тянуть. Потому что заречные если кого и побаиваются, так это наших. Как-то на танцах Красавчик полез было на Колёсика, но тот ему свет быстро выключил. А брат, зная про Витю-бойца, вместо того чтоб заступиться, ещё и отвесил ему: лезешь — так дерись, да и вообще знай, на кого лапку задирать.

Саня что-то в последний момент заочковал, говорит Колёсику: не маловато нас? Но Колёсик даже и не ответил. Просто говорит: пошли. За мостом мы собрались, так внутренне поджались. Не шутка, эти заречные совести не знают. Могут и ножичком.

Они, как всегда, на стадионе болтались. На трибунах. Увидели среди нас Саню и всё поняли. Двое-трое даже сразу слиняли так незаметненько. Но Красавчик — он наглый, улыбается: о, какие люди в Голливуде, какими судьбами?

Папуля прямо с ходу вlepил ему в челюсть, он тоже этого Красавчика терпеть ненавидит. Красавчик, правда, готов был, и удар вскользь пришёлся. Ну и тут началось махалово. Даже Саня разошёлся, хотя, по правде сказать, трусоват он. Но за компанию все смелые.

Я с Борьком схватился, с дружкой Красавчика. И сделал глупость: вместо того чтобы кулаками работать, сцепился с ним бороться. А он меня головой как боднёт в лицо! Я такой подлости

не ожидал, а лобешник у него крепкий, ну, я и поплыл. Хорошо не свалился. Отпустил его, вспомнив, как Витя-боец учил, и стал кулаками по печени бить. Тут и он остановился, видно, удалось пробить печень-то. Ну и пока мы с ним так стояли, в себя приходили, всё кончилось. И Красавчик, и другие побежали, а Колёсик подскочил к нам и двинул Борька боковым, так что тот сразу рухнул. Хотелось мне очень пнуть его пару раз, но сдержался: мы лежачих не пинаем. А Красавчик вот сдерживаться не стал бы, это точно.

В общем, отметилили мы заречных, и усталые, но довольные пошли в «Снежинку». Саня говорит: угощаю. У Сани, как и у Юрца, всегда деньги есть — у него родители богатые: мать — экономист в управлении, а отец — начальник цеха. Он Саню после ПТУ к себе забрал и заставил в вечерний техникум поступить. В «Снежинке» мы встретили Веру. Колёсик аж зарделся весь, когда её увидел. Ну, посидели, поели мороженое, поболтали. Я, как всегда, шоколадное с грушевым сиропом взял. Саня Вере про заречных рассказал и так всё вывернул, поросёнок, что будто бы только благодаря его стойкости мы и отметилили заречных. Но никто не обиделся, посмеялись вместе с Верой и договорились, что после обеда вместе купаться пойдём.

За обедом маманя опять завела вольтинку, что, мол, в техникум

поступать надо, вон Саня... Ну, понятно... Я ей не сказал ещё, что предложили мне идти проводником спецвагонов. Зарплата там — в три раза больше, чем в моём цеху, на фиг мне техникум. Только вот командировки месяца по два-три. Даже не знаю: с одной стороны деньги, а с другой — от ребят оторвёшься, тренировки придётся пропускать. Да и скучно две недели в дороге, там в основном дядьки пожилые, лет по сорок. О чём с ними.

На пляж я пришёл, когда все наши уже были там и играли в карты. Вера в карты не играла, и Колёсик тоже не стал, да и я карты не уважаю. Я бы лучше повалялся с книжкой, да неудобно как-то. Не принято. Колёсик принёс гитару и пел для Веры. Песен он знает — до чёрта. И Высоцкого, и эмигрантов, и старые наши дворовые. Эмигрантов Вера, правда, не любит, мата там много, и Колёсик при ней их не поёт. В основном весёлые или жизненные, там «Друзья, купите папиросы», «У ней следы проказы на руках» или «Там, где речка, в речке козий брод, глотает воду по утрам колхозный скот...», в общем, разное.

Она Колёсику как-то сказала: ты бы выучил Визбора или Окуджаву. Ну, он послушал однажды Батонов и сказал, что это не то. Хотя Батоны хорошо на гитаре играют, лучше Колёсика, честно надо сказать, но песни... Нет, кое-что мне даже понравилось, но большей ча-

стью уж очень занудно, не то что Высоцкий. Батоны — они вообще странные. Не пьют совсем, не курят. Но и спортом не занимаются. Хотя и не трусы вовсе. И подраться могут. Смешно смотреть, когда они встают спиной к спине, похожие, как два батона, и отмахиваются хоть от целой толпы. Даже тем, кто нападает, смешно становится — и уже не до драки.

После реки мы с отцом разбирали погреб. Хорошо, когда есть около дома сарайка с погребом. Вон Папуле приходится на автобусе в гараж за картошкой ездить. А тут вышел из квартиры — и вот, пожалуйста, хоть велосипед поставить, хоть картошку, капусту, соленья всякие хранить.

Вечером, как всегда, пошли на танцы. Опять эта дурочка из ДК пела под Пугачёву. Неужто самой не ясно, что не тянет. Позорится только. Увидели в толпе Красавчика с его шоблой. Я подумал, опять придётся схлестнуться. Но нет, мы на одной стороне танцплощадки топтались, они на другой. Среди танцев подошёл ко мне Борёк, я напрягся: он подлый, чего хочешь может. Но он мирно так поздоровался и говорит: здорово ты мне по ливеру наступал, умеешь. Я из вежливости ответил: да и ты мне по калгану зазвездил неслабо. Но тут он увидел, что Красавчик смотрит на нас неодобрительно, кивнул и отошёл. Я оборачиваюсь, а

ко мне уж Колёсик с Папулей пробираются сквозь толпу: ну, чего? Я им говорю: ничего, всё нормально. Колёсик спрашивает: Веру не видел? Нет, не видел. А сам подумал: пойдёт тебе Вера на танцплощадку. Жалко его, ясно ведь, не его она поля ягодка. И как она вообще в нашу компанию затесалась? Кажется, всё-таки не из-за Колёсика. Хотя улыбается ему, песни слушает и вообще... Институт закончит и уедет, конечно...

Потом, когда мы уже сидели в беседке у реки, Вера вдруг пришла. Тут наши материться стали пореже и как-то поделикатнее, что ли. А Вера даже выпила вермута прямо из горла, чем нас всех удивила. И сразу ближе как-то стала. Ну, в каком смысле ближе. По-настоящему-то не ближе, конечно, но всё же...

Тут я зачем-то ляпнул, что мать пристаёт с техникумом, а есть возможность в депо перейти на хорошую зарплату. Все начали спорить. А Вера говорит: деньги не главное, с образованием будут и деньги. Тут все ещё сильнее заспорили, прямо гвалт поднялся.

Я вышел из беседки, посмотрел на небо, а там звёзд — пропасть! Слышу, Вера за спиной говорит: Млечный Путь сегодня — загляденье. Тут и Колёсик вышел. Ребята в беседке как с цепи сорвались, спорят, кричат, а Вера нам с Колёсиком созвездия показывает: это Кассиопея, это Андромеда, левее Большой

Медведицы — Гончие Псы, а там вон, на западе, белая, яркая — Венера. Уже совсем низко, скоро зайдёт... А самая яркая звезда в нашем полушарии во-он та, ниже Гончих Псов — Арктур, смотрите, как мерцает...

Действительно — красиво. А я, кроме Большой Медведицы да Полярной звезды, ничего и не помню, хотя в школе в шестом классе в кружок астрономии ходил...

Потом Колёсик пошёл провожать Веру домой, и, уходя, она сказала мне: поступай в техникум, обязательно поступай.

Дома все уже спали, я напил-ся из-под крана холодной воды, потихоньку разделся и лёг. В окно тыкалась сирень, сквозь листья были видны звёзды, но не так много, потому что на углу горел фонарь.

Какой хороший день получил-ся, думал я, пытаясь разглядеть сквозь сирень Арктур. Всё-таки воскресенье — это здорово. И, уже засыпая, подумал: правда, что ли, в техникум податься?

РАЗГОВОР

— Да как же, батюшка! Кругом одни сволочи, бандиты, эти, как их, аллигаторы, не, олигархи — нахапали и жируют, где ж справедливость? Ведь невозможно же терпеть...

— Ты, сын мой, видно, из бывших коммунистов...

— Ну и что, батюшка, я этого не стыжусь, я искренне верил.

В идеалы... В светлое будущее... Это ж нас партноменклатура продала, и Бога, конечно, запрещать не следовало... Но ведь сейчас ещё хуже — беспросвет какой-то, зла не хватает!

— Вот в этом вся и беда: зло-то как раз хватает. Не хватает добра. Злым стал народ, а злиться — грех.

— Да как же не злиться-то...

— Никак не злиться! Не злиться — и всё! Зло ведь не от несправедливости, а от гордыни. Божий мир нужно принимать таким, каким нам его подарил Создатель... Зло, сын мой, оно ведь не вовне, не снаружи, оно внутри человека гнездится и наружу просачивается.

— Но как же справедливость? Вот у меня последние пятьсот рублей, и я их на храм отдаю, не жалея, правду говорю, батюшка, не жалея! А вон тот, из «мерседеса», полчаса стоял перед ларцом, пока свои сто долларов заставил себя отдать, а ведь у него этих зелёных — куры не клюют! Неужто мы перед Богом равны?!

— Перед Богом все равны. А ты просто суть христианскую ещё не понял, сердцем не почувствовал. Вот кто из вас действительно ближе к Богу? Ты думаешь, ты, оттого что с лёгкостью последнее отдаёшь?

— А как же?

— Да не так! Ты отдаёшь без труда, без душевных волнений, не задумываясь... А тот, из «мерседеса», он ведь боролся, он мучился. Ему бес стяжательства на

ухо — «не давай, не давай, не давай!» Да ему и жалко — сил нет, а он беса в своей душе победил — и дал!

— Да вы смеётесь, что ли, надо мной, батюшка?!

— А ты меня не слышишь, сын мой. Не желаешь понять. Он сейчас душу свою чуть-чуть к свету повернул, а для Бога это огромная победа. Шажок вроде маленький, а там, глядишь, ещё да ещё...

— Да он же эти сто долларов своровал, нас с вами ограбил, а вы его хвалите! Да его расстрелять надо!

— И что, он от этого лучше станет? Нет, радость моя, не в справедливости дело, а в ненужной злобе, зло человека съедает...

— Батюшка, да ведь и зла не будет, если справедливость...

— Ох, ладно, ладно, сын мой, иди пока, иди да подумай хорошенько, да не злись, не злись. С Богом...

...И что за люди пошли — бестолковые, жадные и злые, упёртые; так бы и настучал по пустой голове. Ох, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи...

КТО-НИБУДЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО...

Сколько. Очень сколько. Знал бы — сидел бы дома. Василий Егорович остановился у решётки кованого заборчика, ухватился за завиток и стоял, не

решаясь шагнуть. Как до неё сюда-то добрёл... Не заметил спервоначалу, что асфальт покрылся прозрачным ледком. Не разглядел сослепу. Василий Егорович очень боялся сломать ногу. Особенно бедро. Шейку бедра. Поэтому гулял только с палочкой и очень медленно. Когда шейку бедра сломала его жена... Когда же это было? Год назад? Или пять лет? Что стало с временем, совершенно невозможно понять, когда что было. Жена лежала несколько месяцев. Врачи говорили: какая операция в таком возрасте! И тихонько, чтобы Люся не слышала: готовьтесь, шейка бедра в таком возрасте... И многозначительно закатывали глаза. А какой возраст, она на пять лет младше Василия Егоровича. Люся всё понимала, но улыбалась Василию Егоровичу: ничего, ничего, срастётся... Василий Егорович запирался в ванной, включал воду и рыдал. Он привык к жене и не хотел остаться без неё. Люся умерла месяца через четыре. Так что теперь Василий Егорович бережётся.

Хуже всего в ноябре. То асфальт, то снег, то лёд. А то ещё тонкий прозрачный ледок, вот как сейчас, почти незаметный. Идёшь вроде по асфальту, а там лёд!

Детей у них с Люсей не было, вот что плохо; и родных не осталось никого на свете. Друзья или поумирали, или вот так же, как он, выбирались иногда в хорошую погоду во двор —

прогуляться от перекрёстка до перекрёстка. Хорошо, что магазин был в соседнем доме. И ещё телефон. На телефоне, конечно, приходилось экономить, какая сейчас пенсия. А всё ж, когда прижмёт сердце, можно дозвониться до скорой, а если прижмёт душу — до знакомых...

Совсем плохо стало, когда перестали приглашать на завод на праздники и юбилеи. Раньше хоть два-три раза в год, а приглашали. Сажали в президиум, давали грамоту, а потом, как положено, за стол. Водочка, бутерброды хорошие, рыба... А теперь что-то совсем не то. Раз летом сам добрался до проходной — не пустили, спросил директора, а директор уж совсем другой; и завод-то, говорят, продали, московским кому-то. Вот времечко настало — целый завод продали, мыслимое ли дело?!

Что-то совсем перестал Василий Егорович понимать эту жизнь. Ну, как одеваются — это ерунда; молодёжь всегда так: чем чудней, тем модней. Сам он, что ли, не распяливал брюки в немыслимый клёш? А вот говорят всё больше непонятно; прислушаешься — вроде и по-русски, а ни черта не поймёшь. Да...

Ноги озябли. Ходил Василий Егорович в летних полуботинках, а как похолодает, поддевал толстые шерстяные носки. Но весной куда-то спрятал их, да так и не смог вспомнить — куда. Можно бы купить новые у бабушек возле магазина, у них не

магазинные, сами вяжут, хорошие носки. Но тоже — то забудет, то пенсия кончится... Вот перчатки попались добротные, подарок. Подарили на заводе, когда ещё приглашали, давно, а как новенькие...

Однако нужно было как-то идти, а Василий Егорович всё не решался, очень боялся сломать ногу. А если ещё и шейку бедра... У Люси был он. А у него никого...

Мимо шли люди — вечер, суббота, кто в магазин, кто в гости, кто так гуляет. Они с Люсей любили гулять; «для моциона», Люся говорила... Машины по улице одна за другой, и всё какие-то незнакомые, иномарки... Как там его москвичок в гараже, с лета не ходил... Ноябрь — самый противный месяц: ни осень ни зима, холодно и неуютно. Рука на чугунной завитушке решётки замёрзла, и, перехватив тросточку, Василий Егорович взялся за решётку другой, неоязбшей, рукой.

Он вдруг с тоской почувствовал, что всё вокруг не касается его. Как будто его уже и нет. Жизнь вокруг течёт сама по себе, а он стоит тут сам по себе, словно выпал из действительности. Вот пройди сейчас кто-нибудь прямо сквозь него, а он и не удивится. Он зябко передёрнул плечами. Надо идти, но он всё никак не мог оторваться от решётки.

— Вам нехорошо?

Василий Егорович вздрогнул. Повернул голову. Девушка.

Смотрит, улыбается чуть озабоченно.

— Что-то случилось? Сердце?

— Да вот... — Василий Егорович запнулся. — Скользко...

— Давайте руку... Ничего, ничего, я не тороплюсь. Вы ведь из тринадцатого? Я в соседнем подъезде живу. Вы не в магазин шли? Нет? Ну, давайте, потихоньку...

Кружка с горячим чаем согревала ладони, телевизор бормотал что-то про погоду, гудели тихонько батареи, тикал будильник, у соседей плакал грудничок. Василий Егорович смотрел в окно. Из чёрного неба медленно падали снежинки, вокруг дворового фонаря они красиво вихрились в лёгком хороводе. Во дворе чёрным по белому бегала и гулко лаяла собачонка. С высоты четвёртого этажа она казалась таксой. Василий Егорович вспоминал свою прогулку и девушку, думал: «Да нет, всё те же люди... Вроде никому и дела до тебя нет... Но кто-нибудь обязательно поможет, если что. Обязательно...» И от чая, и от урчащей батареи, и ещё от чего-то ему становилось тепло...

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ

Крыльцо заметно покосилось. Да и немудрено — последний раз к нему «прикладывали руки» лет двадцать пять назад. Константин Иванович остро почувствовал это время: «Четверть века!» Вроде всё как прежде, да только

поизносилось, осело, будто бы полиняло... И снова очень остро он осознал, что расстаётся с этим домом навсегда. На деревянном, грубо сколоченном ещё дедом столе, что словно врос в доски просторного крыльца, лежали документы на дом.

Женщина-покупательница внимательно просматривала бумаги; из-за плеча её так же внимательно смотрел мужчина, но было ясно: главная — она. Покупатели жили в этом доме уже полгода, и дом стал приобретать чужие неясные запахи, стал исподволь, словно тайком, меняться, даже как бы изменять бывшим хозяевам. И Константину Ивановичу было это неприятно. В общем-то, продавать дом он и не собирался, всё-таки и «родовое гнездо», и дачка какая-никакая. Но вдруг открылся неподалёку восстановленный монастырь, известный на всю Россию, и цены даже на такие старые, неухоженные дома взлетели неимоверно. Ехали всё больше с Украины, надрывно-православные, какие-то возбуждённые, чуть сумасшедшие, торговались, но почти всегда соглашались с хозяйской ценой. И тут жена Константина Ивановича, прежде снисходительно поглядывавшая на «имение», как на ненужную безделицу, и даже позволявшая привозить себя на день-другой в мужнину деревеньку, вдруг заладила: продай да продай. Да и причин было хоть отбавляй: дочке на институт нужно, машину

поменять давно пора, ремонт в квартире лет пять не делали, да мало ли...

Жена с дочкой в доме вязали узлы со старыми альбомами, бабкиными, ставшими вдруг модными, вязаными ковриками, кринками и иконами, а Константин Иванович сидел за дедовым столом, смотрел, как ласточки стригут летнее небо, как кошка карабкается по тесовой крыше соседского дома, и тосковал. То ли о доме, то ли об ушедших временах, то ли о себе самом, оставшемся где-то в далёком детстве.

...Субботними летними вечерами, после баньки, дед выносил на крыльцо самовар. Настоящий, большой, топил его смолистой сосновой щепой, шишками, которые специально собирал в большой рогожный мешок. Приходили соседи — Калган с Калганихой, их внучка Любашка, пили чай. Дед, бабушка, Калганиха — вприкуску, Костя с Любашкой — внакладку, Калган — вприглядку: у него был диабет, да и вообще он больше уважал самогон. Когда лица у всех краснели, и пот начинал капать с носов, самовар убирали в сторону, и дед доставал карты или лото. В карты играли на копеечку — в дурачка подкидного, в пьяницу, в петуха и даже в совсем уж детское хрю-хрю. Калган, получив карты, начинал балагурить:

— Вот собрались медведь, волк, лиса и заяц играть в карты. Медведь сразу говорит:

играть честно! А волк: а кто будет мухлевать, того будем бить по наглой, рыжей, бесстыжей морде!

Никто не смеялся, а Калганиха говорила:

— Ты этот анекдот в прошлый раз рассказывал.

Бабушка усмехалась:

— И в позапрошлый.

Дед:

— И в следующий раз расскажет!

Тогда все смеялись. А Калган, и правда, в следующий раз снова заводил историю про зверей...

А как хорошо было зимой. Набегаешься по снежным горкам, замёрзнешь, задубеешь, как полено на морозе, а тут печка, на полу матрас, набитый душистым сеном, братья и сёстры возятся под лоскутными одеялами, старый тулуп в головах поделить не могут, щекочут друг друга. Дед цыкнет, погасит свет, сядет на чурбачок у голландки, курит едкую самокрутку — «козью ногу», дым в отсветах огня, радио на этажерке горит зелёным глазом и поёт далёким мужественным голосом: «И снег, и ветер, и-и звёзд ночной полёт, меня-а моё сердце в тревожную даль зовёт...»

Сейчас люди так не живут. И живут не так, и сами другими стали. Кажется, вроде и к лучшему всё идёт — вон сколько всего полезного... Сотовый, в Турцию два раза ездили, и никакого разрешения ни от парткома, ни от профкома — были бы деньги.

Какая хочешь еда в магазинах. Константин Иванович усмехнулся, вспомнив, как привозил впервые появившиеся заграничные деликатесы в деревню, как втолковывал деду преимущества рынка, как дед, отведав отварных креветок, говорил упрямо: «Ну, раки-то лучше!» Да-а... Всё ж таки что-то ушло. Тепло ушло, душа куда-то, как вода меж пальцев, просочилась.

Забывшись, Константин Иванович всё смотрел и смотрел на гладкие доски стола, на заплывшие царапины, на рубчики от ножа, на едва видимые, отполированные руками и временем сучки и жилки; вспоминал, как бабушка скоблила столешницу ножом, тёрла содой, насухо вытирала тряпицей... И мычали вечерние усталые, истомлённые летним молоком коровы, возвращавшиеся в деревню, и тарактел, задыхаясь, по «задам» кривоногий тракторишка-пердунок, волоча, как большой красный муравей, огромное бревно, и хулиганили под застрехой пудики, и жизнь была длинная-длинная, наполненная то солнечным теплом, то морозным солнцем, то жёлтой берёзовой метелью, то безудержными трелями вернувшегося из нетей скворца...

Женщина, наконец, сложила бумаги и, кивнув головой, обернулась к мужу:

— Неси деньги...

Константин Иванович очнулся, вынырнул из прошлого; вместе с женой и дочкой, вытаскившими

на крыльцо узлы с последними отобранными пожитками, он замороженно смотрел, как покупатели пересчитывают купюры, как жена аккуратно складывает пачки в сумку, и чувствовал, что сердце наливается усталостью и безразличием. Не слыша самого себя, попрощался с новыми обитателями дома, подхватил узлы, спустился с крыльца.

Выйдя на дорогу, он обернулся и увидел в тёмном окне женское лицо. На мгновенье показалось, что это бабушка, как раньше, смотрит ему вслед, и он вдруг заплакал. Руки были заняты узлами, и он не мог вытереть слёзы. Шёл и плакал.

Жена удивлённо и даже испуганно остановилась:

— Костя, да что ты! Ну, давай вернёмся, отдадим деньги, откажемся... Что ты!

Дочка смотрела во все глаза и молчала. Константин Иванович, не останавливаясь, шёл к машине и сладко плакал.

Ехали они молча, слёзы на щеках Константина Ивановича высохли, но он чувствовал, как двумя невидимыми дорожками они стягивают кожу. Как в детстве...

ПРЕДСКАЗАНИЕ

Московский физик-теоретик Егоров не верил в Бога, в народные приметы и был, несмотря на своё крестьянское происхождение, совершенно не суеверным.

К тому же физик-теоретик Егоров был занудой-холостяком. Женой ему была работа, а детьми — то, о чём в открытой печати говорить не рекомендуется. Как-то раз в командировке в маленьком городке Арзамасе, где учёному-физику уровня Егорова, казалось бы, и делать-то нечего, его на вечерней прогулке от учреждения к гостинице схватила за руку цыганка. В другое время Егоров сурово осадил бы представительницу кочевого племени, так любимого некогда Пушкиным. Но в этот вечер у физика было довольно редкое игривое настроение, спешить было некуда, и он дал себя задержать, намереваясь придать цыганку собственным интеллектуальным превосходством. Поиграть с ней, как кот с мышкой. А цыганка, как и положено, начала пророчить ему всяческие блага, приговаривая обязательное «позолоти ручку». Цыганка уже почувствовала, что клиент попался удачный, — не шарахается, смотрит хоть и с кривой, но улыбкой, вроде бы нежадный и, кажется, недалёкий. Она вилась вокруг теоретика и пела:

— Будешь богатый, яхонтовый мой, здоровье твоё будет здоровее, женщина тебя полюбит — красавица! На работе... Ты кем, дорогой, работаешь? Физиком? Ой, какое открытие физическое сделаешь — премию Нобелевскую получишь, серебряный, вспомнишь меня, ягода моя зрелая... Позолоти ручку...

— Ну, хватит этой чепухи, — прервал, наконец, сладкие потоки физик Егоров. — Если ты настоящая гадалка, скажи мне, когда я умру!

— Ой, сладкий мой, ой, яхонтовый, да зачем же тебе это? — цыганка испуганно замахала руками. — Не положено человеку знать свой смертный час.

— Не можешь, ну так не забивай людям голову, — презрительно кривясь, осадил, наконец, цветастую тётку физик, — и не приставай к прохожим, шарлатанка!

— Я шарлатанка?! — упёрла руки в боки цыганка. — Да я тебе твою смерть в два счёта предскажу, только как ты жить будешь? Думаешь, это весело — знать, когда тебе умереть предстоит?

— А ты за меня уж не волнуйся, — подначивал Егоров распалившуюся цыганку. — Гадай, давай!

Тут цыганка вдруг посуровела и стала чрезвычайно серьёзной. Она взяла руку физика-теоретика и сначала очень внимательно вгляделась в линии жизни, на первый взгляд совершенно беспорядочно разбросанные по ладони, а потом закрыла глаза и притихла. Физик почувствовал вдруг покалывание в ладони и даже лёгкое головокружение. «Внушение, — подумал Егоров, — примитивный гипноз». Наконец, цыганка открыла глаза, глубоко вздохнула и печальным севшим голосом сказала:

— Жить тебе, соколик, осталось немного. Умрёшь ты одновременно с олигархом Абраловичем ровно через две недели, в пятницу, тринадцатого. Умрёшь без мучений.

Егоров натянуто улыбнулся:

— Вот прямо одновременно с олигархом?

— С Абраловичем, — совершенно серьёзно кивнула цыганка.

— Болезнь или несчастный случай?

— Авиакатастрофа.

— А причина катастрофы?

— Попугай.

«Хрень какая-то, — ругнулся про себя теоретик, — не могла чего-нибудь поправдоподобнее придумать или романтичнее: казённый дом, дальняя дорога...» И он полез в карман за деньгами. Однако цыганка денег не взяла.

— За смерть деньги не беру, — буркнула она и быстро пошла прочь.

«Плюнуть, растереть и забыть», — в демократичных выражениях подвёл итог нечаянной встрече физик, но, к собственному своему удивлению, ни плюнуть, ни растереть, ни тем более забыть отчего-то не смог.

За эти две отведённые цыганкой недели Егоров раза четыре видел Абраловича в телевизионных новостях. Олигарх то и дело летал — то покупать в Лондоне яйца Фаберже для любимой родины (правда, для которой,

физик так и не уловил), то баллотироваться в губернаторы Соловецкого архипелага, то резать ленточку на открытии нового губернёрского училища в Йошкар-Оле. «Да, — думал физик, глядя в телик, — этому с полётами действительно поосторожнее надо... А мне столько летать денег не хватит...» И тут же сердито себя одёргивал: далось тебе это дурацкое предсказание!

Физик-теоретик Егоров, как уже было сказано, не верил в Бога, в народные приметы и был совершенно не суеверным. Физик-теоретик Егоров был занудой-учёным, но он с удивлением почувствовал, что чем ближе пятница, тринадцатое, тем чаще вспоминает он цыганку. Он злился на себя и то старался забытья и отвлечься, то, наоборот, логично и скрупулёзно доказывал сам себе, что предсказание не имеет под собой ни малейшей научной основы, а значит, бессмысленно.

Наконец, пришло роковое тринадцатое, подкатилась пятница. Весь день Егоров был весел и слегка возбуждён, что даже было отмечено зоркой женской частью физического учреждения, в котором подвизался теоретик. Дамы, естественно, сделали вывод о намечающемся изменении холостяцкого статуса Егорова и гадали, кто же сумел пленить физика-холостяка.

День прошёл совершенно обыкновенно. Даже более обыкновенно, чем в среднем по году.

Его не послали в срочную командировку с необходимостью сегодня же вылететь в Сыктывкар (чего он, откровенно говоря, в глубине души всё же опасался), он не отравился в учрежденческой столовке котлетами, не попал по дороге домой под колёса дикого джипа и даже не застрял в лифте, что само по себе не было бы такой уж неожиданностью. Он посмотрел телевизор, с удовлетворением отметив, что в новостях ни разу не мелькнула довольная небритая рожа Абраловича, почитал книжку и лёг спать.

Пятница неотвратимо катилась к финалу. Физик-теоретик Егоров потихоньку задрёмывал в своей холостяцкой постельке, с иронической удовлетворённостью поглядывая слипающимися глазами то на светящиеся стрелки настенных часов (23.30, 23.31, 23.32...), то на звёздное небо за кольшующимися гардинами открытого окна. Последнее, что он увидел, с улыбкой проваливаясь в сон, — мигающим светлячком заходящий на посадочный круг пассажирский самолёт...

Олигарх Абралович возвращался из Аргентины. Он дремал в широком кресле VIP-салона, расслабленный порцией хорошего коньячку под вегетарианскую закусочку. В полусне он улыбался, вспоминая, какого шикарного попугая купил в подарок дочке...

Клетка, которую приобрели для перевозки попугая в Россию,

оказалась слишком хлипкой для такой крупной птицы с железным клювом. Прутики клетки он перекусил словно пассатижами и, выбравшись наружу, принялся изучать багажный отсек. Пернатого аргентинца сразу заинтересовали яркие кнопки и рычажки каких-то приборов на белой стене. Мощный клюв тут же пошёл в дело. Вдруг что-то щёлкнуло, зашипело, громко треснуло, и свет в салоне погас. Сквозь сон Абралович почувствовал, как самолёт резко завалился на правое крыло и провалился вниз. Вынырнув из дрёмы, вытаращив глаза, Абралович, прижатый к креслу чудовищной перегрузкой, увидел стремительно несущиеся ему навстречу окна многоэтажки...

ШЕВЕЛЁНЫЙ

«Случается на суше и на море, друг Горацио, — написал гений не то английской, не то шотландской драматургии Вильям Шекспир, — что и не снилось нашим мудрецам!»

И это чистая правда! Случается! Такое случается! И мне лично далеко за примером ходить не надо...

В самые рассоветские времена довелось мне работать в самом что ни на есть обыкновенном городском фотоателье. Люди старшего поколения могут представить его, вспомнив старинный фильм-комедию прошлого века «Зигзаг удачи». Приёмщица, три

фотографа, пара лаборанток, бухгалтер и директор...

В этом фотоателье всё и произошло.

Трудился у нас фотографом степенный человек лет пятидесяти Иван Николаевич с совершенно обычной фамилией Иванов. Столь же обычной, как и фамилия, была и его трудовая, как тогда выражались, биография. После средней школы он окончил техникум бытового обслуживания населения и, получив специальность, принялся неустанно останавливать прекрасные мгновения по заказу советских трудящихся — на свадьбах, детских утренниках, ёлках, вручениях красных переходящих знамён и других знаменательных событиях. И добился на этом поприще значительных успехов: всевозможных премий, почётных грамот, уважения трудового коллектива и начальства. Был Иван Николаевич человеком вполне интеллигентным и, хотя писал в квитанциях «фотография на плацмассе», слыл человеком в высшей степени грамотным и авторитетным, тем более что ходил всегда в костюме-тройке и при бабочке. Делая, впрочем, исключения в самые жаркие июльские дни, когда невозможно было дойти от ателье до места съёмок, не завернув к квасной бочке или не притормозив у автомата с газированной водой. Нынче таких автоматов не найти уже, наверное, даже на самых забытых складах автоматной

техники где-нибудь в Урюпинске или Задонск-Муханске.

С годами, став самым старшим по возрасту и опыту фотографом ателье, он некоторым образом даже вошёл в городскую элиту. Его приглашали снимать партконференции, делать портреты для городской доски почёта, на которой, между прочим, со временем появился и его автопортрет, выполненный, как всегда, с большим мастерством; он стоял на майских и ноябрьских трибунах совсем недалеко от высшего городского начальства, а когда в город вдруг ни с того ни с сего нанёс визит космонавт не помню с какой фамилией, именно Ивану Николаевичу доверили провести ответственную фотосъёмку (модное ныне слово «фотосессия» у нас тогда ещё не бытовало).

И вот у этого передового по всем показателям человека была своя страстишка. Очень любил Иван Николаевич фотографировать похороны. Я вот до сих пор не понимаю (а мне уж годов немало), на кой чёрт нужно снимать мёртвого человека в гробу?! А вот поди ж ты, влезь в любую старую коробку из-под ботинок, где пылятся полузабытые семейные фотографии пяти поколений, крестьянских ли, военных или даже номенклатурных, — обязательно наткнёшься на снимок: гроб, в гробу суровый человек с закрытыми глазами, а вокруг скорбные родственники. Однако именно заказ на такую

скорбную съёмку и был для Ивана Николаевича настоящей отдушиной. Признался он в этом сам на одной из, как бы сейчас сказали, корпоративных вечеринок, а тогда это была вечерняя пьянка в ателье по случаю Международного женского, кажется, дня.

— И самое главное, — толковал он, объясняя своё пристрастие, — обстановка торжественная — раз! Человек лежит, не шевелясь, — два, и не надо ему сто раз говорить, чтоб не моргал и не задираал шею...

Да к тому же фотографа обязательно приглашали на поминки, а посидеть за столом, да ещё в компании степенных людей, да ещё бесплатно... Бывало, что Иван Николаевич даже говорил несколько прочувственных слов в адрес покойного, которого совершенно не знал, но пару раз стлкнувался где-нибудь по производственным или иным делам...

И вот с этим обыкновенным человеком по фамилии Иванов приключилась совершенно необыкновенная история. Однажды пригласили Ивана Николаевича на проводы в последний путь первого секретаря горкома партии. Первые секретари горкомов в те времена жилали дольше, чем рядовые строители коммунизма, но всё ж таки и они порой уходили туда, где Вечный Коммунизм сиял светлой зарёй человечества...

Всё было как всегда; для такого опытного фотографа сделать всю положенную серию

снимков не составило никакого труда, а уж поминки превзошли все его ожидания. Плёнки, отснятые на гражданской панихиде, мастер лаборантам ателье не доверил. Сам проявил, сам и заперся в тёмной комнате для печатанья фотографий. И вдруг все в ателье обратили внимание на то, что за чёрной занавесью, скрывающей дверь в лабораторию, — тишина. Это было очень удивительно, поскольку, взясь в лаборатории, Иван Николаевич всегда пел, а с особым воодушевлением как раз после траурных съёмок.

Трудовой коллектив, переглядываясь, подобрался поближе к чёрной занавеске (а вдруг с человеком плохо); но тут занавесь театрально откинулась, и в проёме в ореоле красного света показался сам мастер. В руках у него была мокрая фотография, в глазах — ужас.

— Шевелёный, — деревянным языком возвестил он коллективу.

— Кто шевелёный? — спросила приёмщица.

— Он, — протягивая снимок, ответил мастер, — покойный шевелёный.

Снимок пошёл по рукам, и у каждого, кто видел изображение, что-то ёкало в груди. На фотографии всё было как надо, всё правильно: красивый гроб на постаменте, партийные товарищи, скорбящие о безвременно покинувшем их руководителе, сам руководитель, солидно сложивший

руки на номенклатурном брюшке, всё чётко и безупречно резко... Но голова покойного была смазана! Казалось, что он повернул лицо к фотографу, словно бы проверить, правильно ли тот выполняет порученную ему работу.

— Такого быть не может! — категорически заявил директор ателье. — Это ты, Николаевич, принял до поминок и напортачил!

— Ка-а-ак? — страдальчески воскликнул фотомастер. — Как такое можно сделать? Этого даже специально сделать невозможно!

Тем не менее факт был налицо: покойный шевельнулся!

— А может быть, кто-то за верёвочку дёрнул, — предположила симпатичная, но глупенькая, это все знали, приёмщица.

— За какую верёвочку?! — схватился за голову директор. — Сколько ты таких кадров сделал?

— Три, — совсем безжизненным голосом ответил Иван Николаевич, — и на всех трёх он шевелёный...

— Надо эту плёнку на экспертизу, — влез самый молодой лаборант Вася, — учёным предъявить в Москву, чтоб объяснили феномен.

Уже и не помню сейчас, как тогда вышли из положения — ретушёр ли поправил дело, или смастерили коллаж, но положенный комплект фото для горкома

сделали, и нареканий не последовало. Плёнку списали как производственный брак, и директор самолично порезал её на мелкие кусочки, так же как и фотографии «шевелёного». Но одну фотографию лаборанту Васе, то есть мне, удалось сохранить. Я часто смотрел на неё, пытаясь постичь феномен, даже увлёкся философией и был уверен, что наступят времена, когда о таких вещах станет можно говорить открыто.

Однако когда такие времена настали, оказалось, это далеко не самое главное, что может занимать человеческую мысль. Сначала началось ускорение, которое привело к ускоренному исчезновению товаров народного потребления, и в очереди за водкой можно было запросто погибнуть, потом перестали платить зарплату, а все проблемы решались заряженной Аланом Чумаком в трёхлитровой банке водой, потом... Эх, да мало ли...

Одним словом, когда настали более приемлемые для философии времена, фотографии «шевелёного» в многочисленных пакетах со старыми фотографиями я отыскать не смог. О чём сегодня очень и очень горюю. Ведь так обидно, соприкоснувшись с великой тайной природы, с загадочным феноменом, так и остаться в неведении.

Великий писатель Николай Васильевич Гоголь в одной из своих бессмертных повестей написал не хуже, а я полагаю, что и лучше, чем В. Шекспир:

«Однако же, при всём том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А всё, однако же, как поразмыслишь, во всём этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, — редко, но бывают».

Вот именно — редко, но бывают.

Но только гении, осенённые свыше, могут просто и откровенно рассказывать нам о таких вещах; человек простой от них теряется и впадает в душевное смятение...

ОДНАЖДЫ В ЧЕЧНЕ

В кубрике доктора Самкова чисто и уютно. Стеллажи с медикаментами, топчан, две железных кровати, в углу газовая печка. Меня привели к нему вечером на подселение, и он спокойно указал мне на кровать:

— Спать будете здесь...

Утром в лазарет заскочил командир разведчиков Макс, похвастался доктору:

— Мы уже железа в свою комнату натаскали!

— Зачем?

— Заниматься. Повышать свою физическую немощь!

Доктор тоже озабочен натаскиванием в свой медкубрик всяческого «железа». Всё, что может пригодиться в хозяйстве, тут же попадает в поле зрения доктора и приспособливается под дело.

Верёвочка? Пойдёт и верёвочка. Полочка? Тем более пригодится. И «жилё» доктора в считанные дни стало самым уютным, чистым и приспособленным для жизни и для работы в комендатуре. Может, и поэтому тоже сюда любят забежать на огонёк офицеры.

Однажды вечером доктор организовал для меня просмотр видеоматериалов, изъятых у боевиков. Удивительно, с какой скрупулёзностью боевики фиксировали каждый теракт, каждую смерть. Вот по экрану телевизора ползёт российский БТР с бойцами на броне. Молодые весёлые лица, мирный горный пейзаж... Взрыв — и люди, словно тряпичные куклы, разлетаются в разные стороны, а автоматные трассы, протянувшиеся откуда-то из-за спины снимающего, добивают уцелевших. Вот другой сюжет. Молодой пленный офицер. Лейтенантик. Крупным планом его лицо, лицо человека, предчувствующего неминуемую смерть, но надеющегося на чудо. Боевики улыбаются, шутят, похлопывают пленного по плечам. Разговаривают между собой, вроде как советуются:

— Может, отпустим парня, смотри, какой молодой. Жена, наверное, молодая, ребёнок. Есть жена, ребёнок?

— Есть, — силится улыбнуться офицер, он всё ещё надеется.

Хотя нам, глядящим сейчас на экран, ясно, что с ним играют, как кошка с мышкой. И чуда

не произошло, звучат выстрелы, человек падает. А оператор крупным планом показывает его па-спорт...

— Я ведь тоже однажды чуть не погиб, — словно бы нехотя, под впечатлением от увиденного, рассказал доктор. — Куда-то торопился и вдруг споткнулся буквально на ровном месте. Упал, и тут же сзади просвистело, и прямо передо мной пуля в землю! Если бы стоял, был бы убит...

По вечерам, выключив свет, мы с доктором слушали поселившегося за печкой сверчка. Гуденье огня, красные блики из приоткрытой дверцы, сверчок — просто мирная идиллия. Если бы не выстрелы за стеной и далёкие взрывы.

Одним таким вечером доктор Самков сказал:

— Завтра пойдём в лазарет, познакомлю вас с боевиком.

Его звали Мовсар. Захватили раненым в боевой стычке. Одну пулю, попавшую в живот, доктор вытащил, а вторую ещё предстояло удалить. Боевик лежал в лазарете комендатуры, он уже пришёл в себя, мы пили с ним чай с карамельками и печеньем и тихо разговаривали.

— Ну, забрали-то меня насильно, дали пистолет Стечкина и в первом же бою ранили.

— Все они так говорят, — проворчал контрактник, которого приставили стражем к раненому. — Мол, нигде не был, ни в чём не участвовал, не виноватая я...

Пока мы разговаривали, контрактник чистил автомат. Одна из деталей очищалась с трудом, и, заметив это, Мовсар, повернувшись к нему, мимоходом сказал:

— Это надо не тряпочкой чистить, а песочком.

Тут же в лазарете повисла тишина. Каждый подумал: откуда же человек, не державший в руках оружия, знает такие тонкости? Мовсар и сам понял, что прокололся.

Про войну говорить не хотелось, и разговор зашёл о горском гостеприимстве. Мовсар оживился.

— Теперь всё не так. Если ты в Чечню приезжаешь, даже если в гости, за тобой сразу начинают смотреть. Если у солидного, уважаемого человека гостишь, тебе бояться нечего. Если у простого какого-нибудь — украдут. Могут потом продать, или заставить работать, или будут выкуп требовать у родственников, а если что — так и убить могут.

— А мулла — уважаемый человек, слушаются его?

— Конечно, уважаемый, обязательно слушаются.

— Ну, а вот если мулла скажет боевикам: бросайте оружие, живите мирно...

— Его убьют сразу. Такое мулла не должен говорить. Уже были случаи — убивали...

— Мовсар, если бы тебя раненого не федералы захватили, а свои унесли, где бы ты сейчас был?

— Скорее всего, в Панкиси, в Грузии. Я там уже был однажды, раненых сопровождал.

— И как же вы туда добрались?

— Просто, по дороге. Пограничникам заплатили и проехали. Если большая машина или автобус — сто долларов с человека, если легковушка — двести за всю машину. Автоматы-пулемёты мы с собой не везли, а вот гранату, пистолет или кинжал можно было с собой брать, нас не обыскивали...

— А грузинским пограничникам платили?

— Зачем? Они нас боятся. Там чеченцев больше, чем грузин, мы там хозяева...

— Мовсар, неужели ты серьёзно веришь, что вы победите российскую армию?

— Вашу армию ваши же политики победят... А вообще-то надоело всё это... Если из этой истории выпутаюсь, уеду.

— Куда?

— К дяде в Воронеж уеду, у него там своё дело.

...Три дня я мотался по окрестностям Грозного, ночевал где придётся, страшно устал и заработал бессонницу. Вернувшись под крыло Самкова, я не выдержал:

— Доктор, третью ночь заснуть не могу, выручайте...

Доктор оживился, поставил чайник, он явно рад тому, что я вновь развеял его одиночество. Под сип старого чайника он пошарил на полках; найдя искомое,

аккуратно ссыпает мне в ладонь пару таблеток из стеклянного пузырька и всё время говорит.

— Наши в Мескер ездили, «самовар» взорвали.

Мескер — это Мескер-Юрт, посёлок на трассе Аргун — Шали, а «самовар» — подпольный мини-завод по перегонке нефти в бензин. Этот палёный бензин продают на Кавказе по всем дорогам и рынкам с нагловато-наивными надписями «бензин из Волгограда» или «ростовский». Покупатели понимают, что бензин местный, продавцы понимают, что покупатели понимают, но все делают вид, что никто ничего не понимает, — и милиция, и власти. Одни боятся, другие просто «имеют».

— Закладывают они заряд, Антон из разведроты рассказал, подходит к ним мужик, говорит: «Даю сто тысяч — и вы взрываете что-нибудь другое, а «самовар» не трогаете». Наши говорят, ну в шутку, поторговаться — «мало». Он — «сколько?» Наши — «миллион». Он подумал и говорит: «Нет, дорого». А что ему, ему проще в другом месте новый «самовар» поставить. Там же нефть в метре под поверхностью земли. Яму выкопай — наутро в ней нефть скопится... Они мне вчера принесли сувенир, — доктор бросил на стол красную «корочку», — удостоверение правительства Чеченской республики.

Я раскрыл удостоверение, прочитал: «Заместитель министра республики Чечня. Министерство здравоохранения».

— Главное, удостоверение настоящее, — доктор поднял вверх указательный палец, — но изъяли его у молодого парнишки, который на такую должность попасть никак не мог. Так при проверке и оказалось. Однако кто, как и когда выдал удостоверение молодому проходимцу, не выяснили. Да и не выяснят... О! А не желаете с рабами побеседовать? — вспоминает доктор. — Только что наши освободили, из-под Дуба-Юрта, что ли, доставили...

Дохлабав чай с пересушенным печеньем, мы вышли из медпункта.

— За один раз двенадцать человек освободили, — делился доктор по дороге. — Из небольшого, в общем-то, аула. Я бы вот этих правозащитников, которые за чеченцев, сюда на экскурсию возил бы... Пусть бы посмотрели... Остальных уже отправили, а эти двое колонны или борта ожидают.

Они сидели на табуретках в камбузе и чистили картошку. Заросшие, прокалённые солнцем, с выпирающими скулами, в солдатских бушлатах и армейских же берцах. Один постарше, лет пятидесяти, второй довольно молодой. Картофельная шелуха из-под их ножей медленным серпантинном опускалась в один бак, а очищенная картофелина летела в другой — с прозрачной водой. «Рабы», — повторял я про себя, и так и эдак примеряя слово на этих небритых мужиков совершенно рязанского вида. Рабы... Слово легко вызывало ассоциацию с

учебником по истории, — за какой там класс? — с фильмом про Спартака, но никак не ложилось на этих доходах...

МАКС

О том, что в кубрике по работе с личным составом связисты установили спутниковую связь, Макс узнал самым последним. Вернувшись из техразведки, он не пошёл вместе со всеми в баньку, а просто завалился с книжкой в койку — вот и пропустил важную весть. И вот теперь он стоял крайним в очереди к тщедушному связисту-срочнику, а стрелка глуповатых в военном помещении ходиков с гирьками-шишками неумолимо отсекала последние часы вечера 31 декабря, с аппетитом съедая время, в которое можно ещё дозвониться до родных. Все курили, все слегка нервничали, связь то и дело «падала», на везунчика, быстро дозвонившегося до родной квартиры, смотрели со странной смесью сочувствия и нетерпения — ну, всё-всё, закругляйся... В трубку все орали одни и те же слова с одними и теми же интонациями, оно и понятно — Новый год. Правда, когда один из совсем молоденьких контрактников, засуетившись, пожелал собственной жене «счастья в семейной и личной жизни», все с удовольствием поржали.

Гуманоид — подполковник, замкомандира по работе с личным составом — проходя мимо,

дружески похлопал Макса по плечу, фальшиво посочувствовал:

— Похоже, не успеете, товарищ капитан. Без десяти ноль-ноль отключаемся. Строжайше... Но, может, ещё повезёт.

Макс тайно недолюбливал Гуманоида после того, как тот раздул дело о растяжке, которую по собственной инициативе полез снимать Максов новичок-срочник на первой же своей инженерке. Макс, конечно, недосмотрел, но ведь и парень отделался лёгкой контузией и мелкой сечкой на лице и руках; основной заряд осколков принял на себя и выдержал броник, который за полчаса до этого Макс буквально силком заставил надеть солдатака...

Гирька ходиков опускалась всё ниже к полу, и вместе с ней опускалось настроение в хвосте очереди. Макс дозвониться не сумел, выпил из «стаканчика» от мины спирта, предложенного Гуманоидом, и пошёл в расположение. Вот-вот ребята поднимут стаканы с водкой и коньяком, закусят, потом выйдут на защищённый бруствером пяточок расположения и начнут шмалять из автоматов и ракетниц в сырое чеченское небо с криво повисшим узким серпом луны. Но Макса охватила грусть, и он не торопился, бредя потихоньку вдоль укрытий, привычно стараясь держаться в тени.

В лунном просвете между бетонным забором и БТРом его

и засёк чеченский снайпер. Раздался выстрел, и Макс упал. Тут же со всех сторон раздалась и новогодняя канонада. Особенно усердствовали уральские милиционеры, стосковавшиеся на полубумажной работе в окрестных комендатурах. Макс полежал на холодном бетоне, решил, что снайпер засел на втором этаже школы, что темнела метрах в пятистах. Подумал, что надо бы по-быстренькому зачистить её, и сам себе возразил — поздно. Чеченца, а может, и не чеченца, может быть, белокурой прибалтийской бывшей биатлонистки уже давно нет в пустой школе. Потом ползком пробрался в тень БТРа и, пригнувшись, добежал до расположения.

Он ещё успел к третьему тосту, пострелял вместе со всеми в чужой, совсем не новогодний, пахнувший акацией космос, порорал в эту глухую тьму «ура», пообнимался с тельняшечными распаренными и сентиментальными корешами.

Уснул Макс счастливым и всю ночь разговаривал с женой по телефону. Утром он вышел на плац, нашёл след от снайперской пули на бетонном блоке, но так и не понял, отчего снайпер промахнулся...

МЕТРОВОЙ

Это я сейчас метровой. А когда-то давным-давно обычным домовым был. Домовой как домовый, жил себе за печкой. Печка

в доме. В избе. Изба на улице, улица в посёлке пристанционном — Замшелое называется. Всё как положено было — печка, и радио, и сверчок, придурковатый, правда, всё невпопад свиристел; и хозяева ничего себе так...

А потом пришла какая-то Перестройка. Откуда пришла, зачем — не знаю, только вскоре хозяева мои с места снялись и уехали. А потом и почти весь посёлок опустел. А потом дом загорелся, я со сна едва выскочил с бородой обгорелой.

Иду себе, иду, да и вышел на станцию. Я поездов никогда не видел, слышал только часто, как они перекрикиваются. Я их себе немного другими представлял...

Ну, вот как-то стал вагонным в скором Москва — Владивосток. В общем-то, всё то же. И печка была, только поменьше, и радио, сверчка только не было, да народ всё время разный. А так ничего... Москва от Владивостока, как мне кажется, совсем не отличается, даром что расстояние промеж ними такое огромное. Да мне что — едешь и едешь, колёса стучат, огни мелькают... Сверчка только жалко, сгорел, поди... А может, и не сгорел...

Но как-то ночью вышел погулять по перрону, зашёл за какие-то вагоны, привокзальные строения, а поезд-то взял да и ушёл. Конечно, настоящий вагонный дорогу в свой вагон найдёт в любом уголке Земли; впрочем, какие у Земли углы — круглая она, это даже самая

отсталая кикимора знает... В общем, добрёл случайно до метро, решил покататься, и так мне это метро понравилось, что нашёл незанятый вагон, да в нём и остался.

Попервоначально к столпотворению трудно было привыкнуть, да и прятаться почти что негде, того и гляди бороду отдают. Одно время даже в мерседесовые пойти хотел. Знакомый один гостиничный подействовал. Однако поездил, поездил на одном, посмотрел, что за люди, — тоска взяла. Жирные дядьки да тощие тётки, и всё про одно и то же — деньги, деньги, деньги. Бывает, ребятишки едут, маленькие совсем, и те — про деньги. Будто, кроме денег, и нет ничего на свете. В общем, вернулся в метровые.

Тут, правда, тоже бывает... Иной раз войдёт — в чёрном, длинном, с крестом на брюхе, так ты будто быть перестаёшь, сам в себя не веришь... Но это редко, они, чёрные, тоже больше на «мерседесах»...

А вообще здесь народ попросе, но повеселее, поразнообразнее. То анекдот новый услышишь, то в обрывке газеты что прочтёшь. Я тут и читать-то выучился.

Только вот иногда начинает глодать какое-то беспокойство. Какое-то даже слово для этого есть. Дежавю? Нет, по-другому как-то. Во — анастальгия! По старенькому своему домику

в Замшелом тоскую. По вьюге с волчьим воем, по печке и огню в ней, по сверчку бестолковому... Один старый метровой сказал мне, что это от скорости. Действительно, летишь порой, летишь, а куда, для чего? А на перегоне Полежаевская — Октябрьское поле поезд вообще так летит, так летит, что даже тревожно становится. Всё быстрее, быстрее, быстрее, будто и вся Земля разгоняется и разгоняется. Аж голова кружиться начинает. И вот так, чтоб тревога ушла, глаза, бывает, закроешь и думаешь. Состарюсь, лет триста минует, поеду на Казанский, сяду на Москва — Владивосток, вернусь на Замшелую, может быть, сверчка найду, мог ведь он не сгореть, правда? Найдём домик какой уцелевший со старой бабкой — и заживём, приключения молодости вспоминая... Другие метровые надо мною смеются, правда, говорят, лет через сто на Земле и людей-то не останется, одни китайцы будут... Ну, людей-то, может, и не останется, а Замшелая-то, чай, сохранится, куда ей деваться-то...

РОМАНТИК

Витя Груздев был в душе авантюристом и романтиком. Он мечтал прыгнуть с парашютом, и чтоб парашют не раскрылся, и он тогда дёрнет кольцо запасного, но запасной запутается в основном, но в последние секунды Витя

мужественно перережет стропорезом нужные стропы, и парашют раскроется. И ужаснувшиеся чуть не случившейся трагедии зрители на аэродромном поле вздохнут с облегчением и встретят Витю как героя. Особенно она...

Она с такой иронией поглядывала на него, на его мешковатую фигуру, очки с толстыми линзами, на неуклюжие движения, что он даже не решался заговорить о любви, не то чтобы предложить выйти за него замуж. А ведь в душе он был, он был... Эх, да что там...

Серым осенним днём Витя приехал с группой перворазников на аэродром, на него натянули рюкзак с упакованным парашютом, впереди прицепили на карабинах запасной; в который раз напомнили, за что нужно обязательно дёрнуть, а за что дёргать ни при каких обстоятельствах нельзя. Старый кукурузник, кряхтя, разбежался по взлётной полосе, подпрыгнул и, одышливо гудя мотором, набрал высоту. В открытую дверь Витя увидел, как домики аэродрома превратились в спичечные коробки, дорога в ниточку, а широкая река в поблёскивающую среди голых осенних квадратиков полей ленточку.

Это было волнующе-красиво, но когда загорелся красный фонарь и заверещал зуммер, Витя вздрогнул, а когда инструктор кивнул ему в направлении двери, под сердцем похолодело. Стоя на краю пропасти, Витя ещё успел заполошно подумать: «Господи, что же я делаю!» — и осознал себя уже болтающимся под белым куполом, довольно быстро несущимся к земле.

Приземляясь, Витя сломал обе ноги. Одну в лодыжке, другую в голени. Помогая грузить его в скорую, инструктор причитал:

— Не могу понять! На ровном месте, буквально на ровном месте! Не могу понять...

Она пришла к нему в палату в тот же день. Принесла апельсины, бананы и сок. Сказала:

— А я и не знала, что ты парашютист.

Витя не стал говорить, что это был его первый прыжок. А через несколько дней как-то так получилось, что он сделал-таки ей предложение. Она минуту подумала и сказала:

— Только при условии, что бросишь парашютный спорт!

Витя согласился. С радостью...